

Сергей Аксаков

**Воспоминание об Александре
Семеновиче Шишкове**



Сергей Тимофеевич Аксаков

**Воспоминание об
Александре Семеновиче
Шишкове**
(Воспоминания #3)

«Я хочу рассказать все, что помню об Александре Семеновиче Шишкове. Но я должен начать издалека.

В 1806 году я был своекоштным студентом Казанского университета. Мне только что исполнилось пятнадцать лет. Несмотря на такую раннюю молодость, у меня были самостоятельные и, надо признаться, довольно дикие убеждения; например: я не любил Карамзина и с дерзостью самонадеянного мальчика смеялся над слогом и содержанием его мелких прозаических сочинений! Это так неестественно, что и теперь осталось для меня загадкой...»

Сергей Тимофеевич Аксаков
Воспоминание об
Александре Семеновиче
Шишкове

*Сей старец дорог нам; он блещет
среди народа
Священной памятью двенадцатого
года.*

Пушкин[1]

Я хочу рассказать все, что помню об Александре Семеновиче Шишкове[2]. Но я должен начать издалека.

В 1806 году я был своекоштным студентом Казанского университета. Мне только что исполнилось пятнадцать лет. Несмотря на такую раннюю молодость, у меня были самостоятельные и, надо признаться, довольно дикие убеждения; например: я не любил Карамзина и с дерзостью самонадеянного мальчишка смеялся над слогом и содержанием его мелких прозаических сочинений! Это так неестественно, что и теперь осталось для меня загадкой. Я не мог понимать сознательно недостатков Карамзина, но, вероятно, я угадывал их по какому-то инстинкту и, разумеется, впадал в крайность. Понятия мои путались, и я, браня прозу Карамзина, был в восторге от его плохих стихов, от «Прощания Гектора с Ан-

дромахой» и от «Опытной Соломоновой мудрости». Я терпел жестокие гонения от товарищей, которые все были безусловными поклонниками и обожателями Карамзина. В одно прекрасное утро, перед началом лекции (то есть до восьми часов), входил я в спальные комнаты казенных студентов. Вдруг поднялся шум и крик: «Вот он, вот он!» – и толпа студентов окружила меня. Все в один голос осыпали меня насмешливыми поздравлениями, что «нашелся еще такой же урод, как я и профессор Городчанинов,[3] лишенный от природы вкуса и чувства к прекрасному, который ненавидит Карамзина и ругает эпоху, произведенную им в литературе; закоснелый славяноросс, старовер и гасильник, который осмелился напечатать свои старозаветные остроты и насмешки, и над кем же? Над Карамзиным, над этим гением, который пробудил к жизни нашу тяжелую, сонную словесность!»... Народ был молодой, горячий, и почти каждый выше и старше меня: один обвинял, другой упрекал, третий возражал как будто на мои слова, прибавляя: «А, ты теперь думаешь, что уж твоя взяла!» или: «А, ты те-

перь, пожалуй, скажешь: вот вам доказательство!» – и проч. и проч. Изумленный и даже почти испуганный, я не говорил ни слова, и, несмотря на то, чуть-чуть не побили меня за дерзкие речи. Я не скоро мог добиться, в чем состояло дело. Наконец, загадка объяснилась: накануне вечером один из студентов получил книгу Александра Семеныча Шишкова[4]: «Рассуждение о старом и новом слоге», которую читали вслух напролет всю ночь и только что кончили и которая привела молодежь в бешенство. Вспомнили сейчас обо мне, обратили, как я этому обрадуюсь, как подниму нос – и весь гнев с Шишкова упал на меня. Среди крика и шума, по счастью, раздался звонок, и все поспешили на лекции, откуда я ушел домой обедать. После обеда я прошел прямо в аудиторию, а в шесть часов вечера, не заходя к студентам, что прежде всегда делал, отправился домой. В продолжение суток буря утихла, и на другой день никто не нападал на меня серьезно. Я выпросил почитать книгу Шишкова у счастливого ее обладателя, а через месяц выписал ее из Москвы и также «Прибавление к Рассуждению о старом и но-

вом слогe». Эти книги совершенно свели меня с ума. И всякому человеку, и не пятнадцатилетнему юноше, приятно увидеть подтверждение собственных мнений, которые до тех пор никем не уважались, над которыми смеялись все и которые часто поддерживал он сам уже из одного упрямства. Точно в таком положении находился я. Можно себе представить, как я обрадовался книге Шишкова, человека уже немолодого, достопочтенного адмирала, известного писателя по ученой морской части, сочинителя и переводчика «Детской библиотеки»[5], которую я еще в ребячестве вытвердил наизусть! Разумеется, я признал его неопровержимым авторитетом, мудрейшим и ученейшим из людей! Я уверовал в каждое слово его книги, как в святыню!.. Русское мое направление и враждебность ко всему иностранному укрепились сознательно, и темное чувство национальности выросло до исключительности. Я не смел обнаруживать их вполне, встречая во всех товарищах упорное противодействие, и должен был хранить мои убеждения в глубине души, отчего они, в тишине и покое, достигли огромных и непра-

вильных размеров. Так шло все время до моего отъезда из Казани.

В 1807 году вышел я из университета, а в 1808-м уже служил переводчиком в «Комиссии составления законов».

Я оставил университет в таких годах, в которых надлежало бы поступить в него, следовательно вынес очень мало знаний. В этом виноват был я сам, а не младенчество университета, в котором многие, учась вместе со мной, получили прочное, даже ученое образование. Особенно процветала у нас чистая математика, которую увлекательно и блистательно преподавал адъюнкт Г. И. Карташевский и которую я ненавидел, несмотря на то, что жил у него и очень его любил. Математика была так сильна у нас, что когда по выходе Карташевского (это случилось уже без меня) приехал в Казань знаменитый тогда европейский математик Бартельс[6] и, пришед на первую лекцию, попросил кого-нибудь из студентов показать ему на доске степень их знания, то Александр Максимыч Княжевич разрешил ему из дифференциалов и конических сечений такую чертовщину, что Бартельс, как

истинный ученый, пришел в восторг и, сказав, что для таких студентов надобно профессору готовиться к лекции, поклонился и ушел. Через несколько лет, встретясь как-то на дороге с Г. И. Карташевским, он остановил его, вышел из экипажа, заставил, разумеется, и Карташевского сделать то же и изъявил ему, как собрату по науке, свое глубокое уважение.

Не имея никакой протекции и даже почти никого знакомых в Петербурге, я попал в переводчики «Комиссии составления законов» единственно потому, что Г. И. Карташевский, еще прежде меня оставивший Казанский университет, служил помощником редактора в одном из отделений Комиссии, которые назывались *Редакторствами*. Карташевский пользовался там, как и везде, где он служил, полным уважением. Я жил в Петербурге уединенно, также мало встречая сочувствия к моим убеждениям и обнаруживая их еще менее. Я видался только с Шушериным; но в наших беседах преимущественно дело шло о театре и сценическом искусстве. Я служил уже около полугода. Главным действующим лицом «Ко-

миссии составления законов» был неутомимый немец Розенкамф: он писал и день и ночь, то по-немецки, то по-французски; с последнего я переводил на русский. Не могу утвердительно сказать, был ли какой-нибудь толк в неусыпных трудах Розенкамфа, но я часто слышал, как подсмеивались над его немецкими теориями. В составе государственных учреждений «Комиссия составления законов» была совершенно забыта. Вдруг директором Комиссии был определен М. М. Сперанский, и ход дел оживился: директорскую канцелярию, названную по-новому: *Письмоводством*, значительно усилили; Вронченко[7] назначили письмоводителем; взяли двух чиновников от Розенкамфа, меня и Бачманова, и причислили к письмоводству. Это передвижение было для меня счастливым событием: в письмоводстве встретился я с Александром Ивановичем Казначеевым. Я живо помню этот первый день, когда он обратил на себя мое внимание. Как теперь гляжу на его молодую, стройную, худощавую фигуру и свежее лицо, наклоненное над бумагой; длинные волосы закрывали сбоку даже его боль-

шой нос, и красивые жемчужные строки выводила его рука. Я сидел возле него, занимаясь своим делом. Вдруг слышу тоненький голосок моего соседа, которым он очень резко бранил школу карамзинских последователей и критиковал переписываемую им бумагу Сперанского за иностранные слова и обороты... Меня так и обдало чем-то родным, так и повеяло духом Шишкова! Я сейчас встал, отвел в сторону старшего чиновника письмоводства, Н. С. Скуридина[8], бывшего некогда моим товарищем по Казанской гимназии, и спросил: «Кто этот молодой человек, который сидит подле меня?» Скуридин улыбнулся и отвечал: «Как кто? Племянник Александра Семеныча Шишкова, такой же отчаянный славянофил (тогда это слово было уже в употреблении) и чуть не молится своему дяде». Этого было довольно. Через несколько часов я заключил с Казначеевым вечный союз братской дружбы, который мы оба свято храним и теперь. В тот же вечер Казначеев обо всем рассказал своему дяде Шишкову, и на другой день, в десять часов утра, положено было представить меня главе славянофилов[9].

Но что ж это такое было за славянофильство? Здесь кстати поговорить о нем и определить его значение. Надобно начать с того, что тогда, равно как и теперь, слово это не выражало дела. И тогдашнее и теперешнее так называемое славянофильство было и есть не что иное, как русское направление, откуда уже естественно вытекает любовь к славянам и участие к их несчастному положению. Впрочем, к Шишкову отчасти шло это имя, потому что он очень любил славянский, или церковный, язык и, сочувствуя немного западным славянам, много толковал и писал о славянских наречиях; но его последователи вовсе и об этом не думали. Русское направление заключалось тогда в восстании против введения нашими писателями иностранных, или, лучше французских слов и оборотов речи, против предпочтения всего чужого своему, против подражания французским модам и обычаям и против всеобщего употребления в общественных разговорах французского языка. Этими, так сказать, литературными и внешними условиями ограничивалось все направление. Шишков и его последователи

горячо восставали против нововведений тогдашнего времени, а все введенное прежде, от реформы Петра I до появления Карамзина, признавали русским и самих себя считали русскими людьми, нисколько не чувствуя и не понимая, что они сами были иностранцы, чужие народу, ничего не понимающие в его русской жизни. Даже не было мысли оглянуться на самих себя. Век Екатерины, перед которым они благоговели, считался у них не только русским, но даже русскою стариною. Они вопили против иностранного направления – и не подозревали, что охвачены им с ног до головы, что они не умеют даже думать по-русски. Сам Шишков любил и уважал русский народ по-своему, как-то отвлеченно; в действительности же отказывал ему в просвещении и напечатал впоследствии, что мужику не нужно знать грамоте. Так бывают иногда перепутаны человеческие понятия, что истина, лежащая в их основе, принимает ложное и ошибочное развитие. – Само собою разумеется, что никакое сомнение не входило в мою осьмнадцатилетнюю голову и что я был готов безусловно благоговеть перед

Шишковым.

Напрасный будет труд, если я захочу дать понятие о том, что происходило в моей голове и моем сердце, когда я воротился домой, расставшись с моим внезапным другом Казначеевым. Какую ночь провел я в ожидании утра, в ожидании свидания, знакомства с Александром Семенычем Шишковым! Я представлял себе его каким-то высшим существом, к которому все приближаются с благоговением. Живя в Петербурге, я постоянно желал и надеялся со временем как-нибудь его увидеть, но возможность личного и близкого знакомства никогда не входила мне в голову. Не могу сказать, чтоб я от неожиданного осуществления того, о чем не смел мечтать, пришел в восхищение, в восторг, которому весьма легко предавался. Конечно, я чувствовал радость, но подавляемую изумлением и какою-то неопределенною боязнию. Тогда я не умел объяснить себе странного моего чувства; Но, может быть, это было безотчетное опасение найти в действительности не то, что создало и украсило мое горячее воображение и так искренно, давно полюбило молодое

сердце. Я был чистый сангвиник: живой, вспыльчивый и в то же время застенчивый, или, вернее сказать, конфузливый до того, что мог совсем потеряться, мог лишиться на ту минуту употребления языка или заплакать. Хотя я конфузился преимущественно в женском обществе или незнакомом и многочисленном, но кабинет Шишкова представлялся мне страшнее всякой аристократической гостиной – и опасность сконфузиться, показаться дураком бросала меня в озноб и жар. Будучи всегда скромного о себе самом мнения, я добросовестно спрашивал себя: «Что же есть во мне замечательного, достойного обратить внимание такого человека, как Шишков? Не совестно ли заставить его прервать свои важные труды и заниматься мною? Что я стану отвечать, когда он спросит о моих литературных занятиях? Не отвечать же ему, что в университете я издавал письменный литературный журнал вместе с Александром Панаевым? Что я написал стихи к „Зиме“ и „Соловью“ или перевел „Пигмалиона и Галатею“? Вот если б как-нибудь заставили меня читать, то, может быть, мое чтение

понравилось бы Шишкову; в Казани все были в восхищении от моей декламации и игры на театре... Но как же это сделать?..» Подобные детские мысли осаждали всю ночь мою горячую голову. Я уснул уже к утру и целым полчаса опоздал приехать к Казначееву.

В переулке с Литейной, называемом Форштатским, против лютеранской кирки, стоял небольшой каменный двухэтажный домик (вероятно, стоит и теперь), окон в восемь, какого-то зеленоватого цвета, весьма скромной наружности: это был собственный дом Александра Семеныча Шишкова. Мы въехали под него в ворота и поднялись во второй этаж, по темной, узкой и нечистой лестнице. Не спрашивая о хозяине, Казначеев ввел меня из прихожей в столовую и остановился у дверей кабинета, поглядел в замочную скважину и сказал: «Дядя тут; не пишет, а что-то читает; верно, ждет нас». Он хотел отворить дверь, но я удержал его, чтобы перевести дух. Сердце билось у меня, как голубь в клетке, и дыхание стеснялось. Через минуту мы вошли. Кабинет был маленький, голубой, с двумя окошками в переулок; между ними помещался большой

письменный стол, загроможденный книгами и бумагами; на окошках стояли банки с сухим киевским вареньем и конфетами, а на столе – большая стеклянная банка, почти наполненная доверху восковыми шарами и шариками.[10]

Вокруг на горках и на полу лежало много книг и тетрадей. Все было в пыли и *беспорядке*, как называют и теперь *порядок* в кабинете ученого, серьезно занятого делом человека.

Александр Семеныч был в шелковом поло-сатом шлафроке с поясом, с голой шеей и грудью; на ногах у него были кожаные истасканные ичиги (спальные сапоги); он имел средний рост, сухощавое сложение, волосы седые с желтиной, лицо у него было поразительно бледно; темнокарие небольшие глаза, очень живые, пронизательные, воспаляющиеся мгновенно, выглядывали из-под нависших бровей; общее выражение физиономии казалось сухо, холодно и серьезно, когда не было одушевлено улыбкой, – самой приятной и добродушной. Он не вдруг увидел нас, но увидев, положил книгу, встал и сказал мне: «Я рад, что вы встретились и подружились с Каз-

начеевым. Вы оба русские люди, будете вместе служить и ходить ко мне, я стану толковать с вами и что-нибудь читать, и хорошее и худое; худого больше, но есть и хорошее. Вот я сейчас читал поэму „Петр Великий“; ее все журналы будут бранить, я наперед знаю; а в ней есть такие красоты, каких немного у Державина, да и у Ломоносова». Он сел на свое кресло перед столом, и мы сели без приглашения на ближайшие стулья. Он взял книгу и принялся читать с самого начала, с посвящения, в котором особенно нравились ему стихи:

*Из чащи лавровой, цветущей при
Полтаве,
Гордящейся Петром, восходит к
небесам
Бессмертный памятник его бес-
смертной славе.
Кто чтит достоинства, досто-
почтен и сам.*

Чтение его было тихо, однообразно, но естественно, произношение чисто и явственно, но в то же время с каким-то старикивским бормотаньем и процеживаньем слов сквозь

зубы; он читал с большим одушевлением и небольшими жестами правой рукой. Сначала мне не понравилось чтение; но скоро я прислушался, привык к его недостаткам или особенностям, и оно так увлекло меня внутренней силою и теплотою, что князь Шихматов [11] показался мне великим поэтом, а Шишков таким чтецом, при котором мне не должно и читать. Читая, Шишков нередко останавливался и восклицал: «Какое великолепие! Какая красота! Какое знание языка славянского, то есть русского! Вот что значит, когда стихотворец начитался книг священного писания! А между тем при следующих стихах, — продолжал он: —

*Не сломят веки, ни стихи,
Ни ковы всех наземных бед, —*

сейчас остановятся и скажут: что это за *наземные беды*? Уж не навозные ли? Подумают, что это слово выдуманно Шихматовым; неправда, оно точно в этом смысле употреблено в священном писании. Ну что может быть лучше этих выражений:

Не терпит сердце немоты;

Приди, витийство простоты,
И смелость мне вдохни, природа!
Или, например:
Как зимний дым белеют мраки,
И утро с розовым лицом,
Гоня зловидные призраки,
Блестая золотом, багрецом,
Дыша животельной прохладой,
Белит и горы и поля.
Сребром усыпана земля,
Всеместной полнится отрадой;
Настал приятный первый шум,
Преторглась цепь ночного плена,
И путник, преклонив колена,
Вперил к востоку взор и ум. —
Се солнце, искра славы бога,
Из бездн исходит, как жених
Младый от брачного чертога.

Это все красоты первоклассные, или заимствованные из книг священного писания, или составленные по их духу. Да покажите мне, много ли таких красот найдется у наших знаменитых писателей. А вот попадетсЯ слово, которого значения не поймут, в стихе:

Богатств дражайшие дары —

и станут смеяться: *дражайший дар*, как

уморительно смешно! а ничего смешного нет. Дражайший значит драгоценнейший, это превосходная степень, а потому стих:

Богатств дражайшие дары —

значит дары, которые драгоценнее богатств. Наперед знаю, что наши безграмотные журналисты подымут на смех следующие превосходные стихи, красоты выражения которых все почерпнуты из священного писания:

Течет исполнь красы и мира,

или:

Так зависть, поучась в крамоле,

или:

И к смерти прилагают смерть,

или:

От скал сложенные громады.

Пожалуй, иной литератор подумает, что *от* поставлено ошибкой вместо *из*. Или:

Трясетя он от оснований

или:

Пасутся сочностью трав —

и неисчетное множество тому подобных превосходных выражений. И не мудрено: они не смыслят корня русского языка, то есть славянского. Далее:

*Утеха взору и гортани,
Висят червленые плоды.*

Как хороши эти два стиха! Это прелесть, а пожалуй, не поймут слово *червленный* и подумают, что это *червивые*. Шихматов говорит, что весенние ветерки:

*На воздух рассыпают сладость,
Окрав душистые шипки —*

и это превосходно, но большая часть читателей не поймут слов: *окрав* и *шипки*, а между тем какое живописное изображение, что ветерки, пролетая по цветам, похищают, окрадывают их душистые, распускающиеся шипки, то есть цветочные распукольки, и таким образом наполняют сладостным благовонием воздух. Ну, послушайте, какое великолепное описание кораблестроения:

*Туда, по воле человека,
Корнисты севера сыны,
Надменны долгою века,
Стеклись с кремнистой вышины,
И там, искусством искривленны,
Да с бурями воюют вновь...*

Последний стих так многозначителен, что я не знаю ему равного. Я также ничего не знаю лучше во всех мне известных литературных следующих описания спуска корабля:

*При звуках радостных, громовых,
На брань от пристани спеша,
Вступает в царство волн суровых;
Дуб – тело, ветер – его душа,
Хребет его – в утробе бездны,
Высоки щоглы – в небесах,
Летит на легких парусах,
Отвергнув весла бесполезны;
Как жилы напрягает снасть,
Вмещает силу с быстротою,
И горд своею красотою,
Над морем воспримлет власть.*

Тут есть такие три стиха (4, 5 и 6), которым должны позавидовать и древние и новые стихотворцы».[12]

Чтение в таком роде, замечания и рассуждения Шишкова продолжались часа два. Казначеев и я слушали и молчали, изъясняя только по временам наше полное согласие с мнениями и выводами хозяина, хотя некоторые похвалы и казались нам преувеличенными. Вдруг дверь в кабинет из столовой несколько отворилась, и резкий женский голос сказал: «Александр Семеныч! Тебе давно пора в Адмиралтейство! Тебя там сегодня ждут. Ты обещал быть в двенадцать часов, а теперь половина второго». — «Сейчас, сейчас!» — отвечал он просительным тоном, — вот только прочту несколько куплетов». Тот же женский голос тоном неумолимой гувернантки возразил: «Этому чтению и конца не будет. Федор! подавай одеваться Александру Семенычу...» И Федор вошел с платьем. Шишков дочитал только куплет, положил книгу и сказал: «Вы у нас обедаете. Я скоро ворочусь; мне хочется показать вам в этой поэме одно славное место и объяснить, откуда Шихматов заимствовал его красоты. Ступайте теперь к жене». Мы вышли. Я был озадачен. Хотя я увлекался чтением и горячими чувствами Шиш-

кова, хотя многие стихи, на которых он останавливался, точно были хороши и я восхищался ими, но не все объяснения красот «Петра Великого» показались мне удовлетворительными; притом мне было как-то больно, что он не обратил собственно на меня ни малейшего внимания: я забыл, что накануне признавал себя совершенно его недостойным. Странно мне показалось и то, что Казначеев, говоривший о дяде заочно с благоговением, обращался с его личностью как-то слишком запросто; голос же жены Шишкова (как я догадался), в котором не было заметно никакого уважения, а, напротив, слышалась привычка повелевать, поселил во мне сильное предубеждение против этой женщины, несмотря на то, что Казначеев уже успел сказать мне, что она добрейшее существо в мире. Под таким впечатлением вошел я в гостиную, где Дарья Алексевна (так звали жену Шишкова)[13] сидела за рабочим столиком у окошка; она приняла меня очень просто и ласково, хотя вообще обращение ее было сухо; попросила сесть возле себя и, не переставая усердно что-то шить, расспросила обо всем до меня и

моего семейства касающемся, со всеми мельчайшими подробностями. Узнав, что со мною живет брат, двенадцатилетний мальчик, она настоятельно потребовала, чтоб я на другой же день привез его к ней, прибавя: «Из ваших слов я вижу, что вы хороший брат и неохотно оставляете его одного дома, а потому всегда привозите его к нам с собой; у нас воспитываются двое родных племянников Александра Семеныча, а потому вашему брату будет не скучно. Я сама занимаюсь воспитанием племянников и строго смотрю за их нравственностью. Я уверена, что ваш брат мальчик неиспорченный. Мы обедаем в половине четвертого. Милости прошу обедать хоть всякий день или хоть вместе с Казначеевым, который с двумя своими родственниками[14] обедает у нас три раза в неделю. Сегодня же непременно прошу обедать с нами. Итак, прощайте покуда».

Мы вышли. Уже был третий час. Мы предполагали часу в первом уехать от Шишкова и отправиться в «Комиссию составления законов»; но теперь было уже поздно, и мы решились совсем не являться туда, а пошли гулять

по Литейной, в ожидании времени обеда. Тут Казначеев многое объяснил мне и много рассказал такого, что мне нужно было знать предварительно. Между прочим, он поздравил меня с тем, что я понравился его дяде и тетке (впоследствии мы всегда их так звали). Я захохотал: «Да помилуй, – возразил я, – он не сказал со мною ни одного слова». Но Казначеев уверял, что это ничего не значит, что он хорошо знает своего дядю, что если б я ему не понравился, то он не продержал бы нас слишком два часа; что, говоря и читая, он все относился ко мне и смотрел на меня, и что он из выражения глаз его заметил, что я пришел ему по сердцу. «Что же касается до тетки, – прибавил он, – то я не видывал, чтобы она к кому-нибудь была так с первого разу благосклонна, как к тебе». Хотя, по-моему, очевидность тому противоречила, но я не мог не поверить Казначееву, в искренности которого невозможно было сомневаться. Тут узнал я, что дядя его, этот разумный и многоученный муж, ревнитель целости языка и русской самобытности, твердый и смелый обличитель торжествующей новизны и почитатель бла-

гочестивой старины, этот открытый враг слепого подражания иностранному – был совершенное дитя в житейском быту; жил самым невзыскательным гостем в собственном доме, предоставляя все управлению жены и не обращая ни малейшего внимания на то, что вокруг него происходило; что он знал только ученый совет в Адмиралтействе да свой кабинет, в котором коптел над словарями разных славянских наречий, над старинными рукописями и церковными книгами, занимаясь корнесловием и сравнительным словопроизводством; что, не имея детей и взяв на воспитание двух родных племянников, отдал их в полное распоряжение Дарье Алексевне, которая, считая все убеждения супруга патристическими бреднями, наняла к мальчикам француза-гувернера[15] и поместила его возле самого кабинета своего мужа; что родные его жены (Хвостовы[16]), часто у ней гостившие, сама Дарья Алексевна и племянники говорили при дяде всегда по-французски... Я ринул рот от удивления! Такое несходство слова с делом казалось мне непостижимо. Что должен был я подумать о Шишкове? В ис-

тинности его убеждений сомневаться было невозможно; итак, это жалкая слабость характера?.. но мне не хотелось допустить такой мысли – и крепко смутилась моя молодая голова! Признаюсь, смущало меня и то, что у православного Шишкова – жена лютеранка!.. В половине четвертого мы были в гостиной, где нашли тетку, двух ее племянниц, девиц Хвостовых, и двух молодых людей, приятелей Казначеева, Хвоцинского и Татарина, с которыми я уже познакомился поутру, потому что они жили на одной квартире с Казначеевым. Племянники Александра Семеныча, также гулявшие перед обедом с гувернером, воротились в одно время с нами; через несколько минут приехал дядя. Не дожидаясь, пока он переоденется, хозяйка велела подавать кушанье и повела гостей за стол. Возле места, на котором обыкновенно садился Шишков, она пригласила сесть меня. Казначеев сел по другую его сторону. Дядя, переменяв только мундир на халат и сапоги на ичиги, шаркая ногами по полу, или как-то таская их по-стариковски, торопливо вышел из кабинета, сел между мною и Казначеевым и

молча занялся сначала своей стынувшей тарелкой супа. Потом обратился ко мне и принялся рассказывать свой спор в Адмиралтейском совете за какого-то русского морского офицера, которому, совершенно несправедливо, предпочитали немца. Дядя, без всякой, впрочем, ласковости, говорил со мною так просто, так по-домашнему, как будто я век был его семьянином, и скоро мне самому показалось, что я давно и коротко знаком с хозяином и со всеми его интересами. Я заметил, что Дарья Алексевна улыбалась, смотря на нас, и говорила что-то с другими. В продолжение всего обеда, чрезвычайно умеренного, дядя ни с кем, кроме меня, не сказал ни одного слова. Встав из-за стола, он сейчас увел нас с Казначеевым в кабинет и около часа читал поэму Шихматова и объяснял то место, которое хотел указать нам. Наконец, сказал: «Ну, бог с вами. Ступайте к молодежи». В гостиной тетка и другие встретили меня улыбками и поздравлениями, что я буду любимцем Александра Семеныча, чему, впрочем, никто не завидовал, ибо всем казались беседы с ним наедине и бесконечные толкования о славян-

ских корнях смертельною скукою. Я, полагаясь более на слова других, чем на свое впечатление, радовался от всего сердца такому неожиданному и скорому обороту дела – но поспешил домой: в первый раз случилось, что брат должен был обедать один и даже не знал, где я. Воротясь, я нашел его в беспокойстве обо мне; он даже еще не обедал, а как я сам был голоден после диетного немецкого стола у Шишковых, то и пообедали мы очень плотно своими тремя сытными русскими блюдами. Я рассказал брату все малейшие подробности нового знакомства и назначил ехать послезавтра вместе с ним к Шишкову. Первое мое с ним свидание так врезалось в моей памяти, что я мог рассказать его с изумительною (для меня самого) точностью: дальнейшие мои рассказы не могут быть так подробны.

Брата моего приняла тетка очень ласково и радушно; дядя, по своему обыкновению, не обратил на него ни малейшего внимания. С молодыми племянниками Шишкова, или, лучше сказать, со старшим, с Сашей (иначе называть его не позволяли), брат мой скоро

подружился; меньшей же, Митя, был слишком молод, да и как-то странен. Саша, известный впоследствии в русской литературе под именем «Шишкова 2-го», был тогда блистательным и очаровательным мальчиком. Много возбуждал он великих надежд своим рановременным умом и яркими признаками литературного таланта. Тетка обожала его, как говорится, и, несмотря на свою практическую рассудительность, совершенно испортила своего любимца. Исключительно женское воспитание редко удается. Через несколько лет не могла она сладить с Сашей, и он поступил в военную службу, прямо в офицеры молодой гвардии и прямо в адъютанты, кажется, к генералу Каблукову. Саша немедленно сделался отчаянным повесой, был сослан на Кавказ, ушел из-под караула и, будучи арестантом, увез молодую девушку и женился на ней, жил в крайней бедности, погубил свой замечательный талант, работая для денег, и, наконец, погиб трагической, всем известною смертью.

Наши посещения дома Шишковых устроились правильным образом: три раза в неде-

лю мы с братом у них обедали и проводили иногда вечера, вместе с Казначеевым и его мнимыми родственниками и нередко с семейством Хвостовых. По вечерам дядя уезжал в гости или в клуб, где он вел крупную игру. Он был отличный мастер играть во все коммерческие игры и особенно в *рокомболь* и всегда много выигрывал. Я после узнал, что он в молодости был сильный банковый игрок. Хотя я приезжал или приходил из «Комиссии составления законов» довольно поздно, иногда перед самым обедом, но всегда проходил прямо в кабинет дяди и вместе уже с ним садился за стол, постоянно подле него. После обеда почти всегда он приглашал меня в кабинет, иногда без Казначеева, и толковал со мною о любимых своих предметах: о тождестве языка русского и славянского, о красотах священного писания, о русских народных песнях, о порче языка по милости карамзинской школы и проч. и проч. Я постепенно перешел из безмолвного слушателя в собеседника. Иногда я возражал Александру Семеновичу, и он, оспаривая меня, признавал нередко, хотя одностороннюю, правду и значитель-

ность возражения; в таком случае он обыкновенно отмечал в тетради: «Такое-то возражение нужно хорошенько объяснить и опровергнуть». Все наши разговоры вошли в состав «Разговоров о словесности» между двумя лицами: Аз и Буки[17], напечатанных года через два. Я не мог не смеяться, читая их, потому что нередко узнавал себя под буквою Аз, и весьма часто с невыгодной стороны.

Между тем время шло. Я привязался всею душою к Шишкову и хотя никогда не слыхивал от него ласкового слова, но видел из выражения его глаз, слышал по голосу, как он был доволен, когда я входил к нему в кабинет. Нечего и говорить, что с первой минуты нашего знакомства я стал искать благосклонности старика с таким жаром и напряженным вниманием, с каким не искал во всю мою жизнь ни в одной женщине. Это делалось бессознательно с моей стороны, но все окружающие замечали мои поступки и нередко смеялись мне в глаза; сама тетка говорила, что я влюблен в ее мужа и волочусь за ним изо всех сил. Я конфузился, но продолжал держать себя по-прежнему. — Сна-

чала нередко случалось, что отворишь дверь в кабинет Шишкова, и он, если занят серьезно, то кивнет головою и скажет: «А, здравствуй», но не отодвинет книги или тетради и не прибавит: «Ну, садись, потолкуем». (Я забыл сказать, что через неделю после первого свидания, или, лучше сказать, при первом употреблении второго лица, дядя начал говорить мне: *ты*.) В настоящее же время тетрадь или книга уже постоянно отодвигались при моем появлении, так что я сам, зная, чем хозяин занят, не входил иногда к нему в кабинет или, поздоровавшись, сейчас уходил под каким-нибудь предлогом.

Наконец, вышло из-под спуда мое умение читать или декламировать. Казначеев с родственниками, Хвоцинским и Татариновым, которые так и остались навсегда его родней, наговорили о моем чтении тетке и Хвостовым, и меня стали просить *прочитать что-нибудь*. Я стал читать: чтение всем понравилось, и тетка один раз за обедом вдруг обратилась к мужу и сказала: «А ты, Александр Семеныч, и не знаешь, что Сергей Тимофеич большой мастер читать?» Шишков, конечно, не

знал, то есть слышал, да забыл, как меня зовут, и я заметил, что он старался вспомнить: кто это такой Сергей Тимофеич? Я поспешил вывести его из недоумения и сказал, что очень желаю прочесть ему что-нибудь, и, обратясь к Дарье Алексееве, прибавил, что Александр Семеныч сам превосходно читает и что я боюсь его суда. Дядя промолчал, но после обеда, не уходя из гостиной, он сказал: «Ну, прочти же что-нибудь». Я сейчас сбегал в его кабинет, принес Ломоносова и прочел «Размышление о божием величии». Дядя был так доволен, что заставил меня прочесть другую пьесу, потом третью, четвертую и, наконец, приметя или подумав, что для других это скучно, увел меня в кабинет, где я читал ему на просторе из Державина, Капниста и даже из князя Шихматова по крайней мере часа полтора. Я должен признаться, что чтение из Шихматова было с моей стороны волокитство! Дядя, очевидно, был очень доволен чтением, иначе он не заставил бы меня читать так долго; но не похвалил ни одним словом и потом уже никогда не поминал об этом, чем я немало огорчился. Но зато чтение в гостиной

продолжалось с возрастающим успехом. Кроме всегдашнего мужского общества, слушательницами были: Катерина Алексевна Хвостова, родная сестра хозяйки (женщина замечательная по уму и прекрасным качествам), две ее незамужние дочери, девица Турсукова, сочинительница Анна Петровна Бунина[18] и другие. Я перешел к чтению драматических пьес; между прочим, я прочел Озерова: «Эдипа», «Фингала» и, наконец, чью-то комедию. Чтение последней родило мысль, что как было бы хорошо устроить домашний спектакль. Надобно сказать, что тетку все считали очень скупой; в самом же деле она была только расчетлива, да и поступать иначе не могла, ибо доходы Шишкова, довольно ограниченные, состояли в одном жалованье. Мысль о театре понравилась Дарье Алексевне по многим отношениям, но расходы ужаснули, и сначала эта мысль была совершенно отвергнута ею, как невозможная в исполнении. Конечно, я более всех желал, чтобы у Шишковых устроились благородные спектакли. Самолюбие мое было очень уже обольщено и даже избаловано еще в Казани, где на университетском те-

атре, посещаемом лучшею публикой, я играл очень много, всегда с блистательным успехом. Гром рукоплесканий сладок, и дым похвал упоителен: я отведал этой сладости и дыма – и чад не выходил из моей головы. Кроме причин, мною высказанных, у меня была своя, особенная, секретная причина: я с приезда моего в Петербург, всякий свободный вечер проводил у Шушерина, с которым мы постоянно занимались сценическим искусством, то есть читали, разыгрывали пьесы и рассуждали об их исполнении. Мои понятия расширились, уяснились; я узнал много нового, сделал, как умел, под руководством Шушерина, много перемен в своей игре на театре – и мне очень хотелось посмотреть самому на себя, сравнить свою настоящую игру с прежнею. Впрочем, надо сказать правду, что и кроме удовлетворения собственного самолюбия я имел настоящее призвание и любовь к театру. Это доказывалось тем, что я с равным жаром занимался успехом тех пьес, в которых сам не играл. Решительный отказ тетки был для меня очень тяжел. Но скоро новый опыт моего дарования, при чтении какой-то слез-

ной драмы Коцебу, вновь увлек наше общество, и все решились вновь атаковать Дарью Алексевну. Для вернейшего успеха пригласили на чтение Петра Андреевича Кикина, {1} которого хозяева очень любили и уважали. Он остался весьма доволен и принял живое участие в нашем предприятии. Напали на самую слабую сторону тетки: представили, как полезна будет игра на сцене для образования наружности ее племянников, то есть старшего, обожаемого Саши, который прекрасно читал и грезил день и ночь желанием играть на театре. Без сомнения, он был сильнейшим нашим орудием. Главное затруднение – расходы устранялись отчасти тем, что мы вызвались сами написать занавес и декорации, наклеить их на рамы и, без всякого машиниста, с одним простым плотником, взялись устроить сцену, к чему Хвоцинский, необыкновенный мастер на все ремесла и даже женские рукоделья, оказался вполне способным. Наконец, обольстили тетку: она согласилась и уже горячо взялась за дело. Для начала выбрали две детские пьески из театра для детей М. Невзорова[19]; одна называлась «Старорусин», или

«Семейство Старорусиных»: не ручаюсь за точность названия, но я сам играл отца семейства, отставного служаку, господина Старорусина, которого слова были отражением русского направления Александра Семеныча Шишкова. Как называлась другая пьеска – решительно не помню. Племянники Шишкова и мой брат играли женские лица. Положено было сделать сюрприз дяде нашим спектаклем; ему сказали, что в зале надобно произвести переделки, затворили ее и заперли двери; обед перенесли в маленькую столовую, что и прежде случалось, когда не было никого посторонних. Впрочем, для дяди не нужны были такие предосторожности: раз как-то нечаянно он заглянул в залу прямо из лакейской, увидел нас без фраков, в фартуках, запачканных красками – и даже не спросил, что это значит. Денег у тетки на устройство театра взяли только сто рублей ассигнациями, приложили столько же своих и обманули ее, ставя в расход все цены вдвое меньше. Короткие знакомые Шишкова, как то: Бакунины[20], Мордвиновы[21], Кутузовы, Турсуковы и другие, скоро узнали секрет; но дядя не знал ни-

чего. Костюмы собрали кое-как без всяких расходов. Я помню, что играл Старорусина, отставленного с екатерининским мундиром, в военном сюртуке Кикина, бывшего тогда флигель-адъютантом, и что я в первый раз и без всякой надобности явился на сцене в шпорах. Как бы то ни было, решительный вечер наступил (кажется, в чьи-то именины); приглашенные гости, все коротко знакомые хозяевам, съехались. Отперли, растворили двери в освещенную залу, и Шишков, ничего не подозревая, думая, что все идут смотреть обыкновенные детские танцы, вел под руку жену Кутузова. Дядя не вдруг увидел занавес: он был не верхогляд и всегда смотрел себе под ноги, потому что был ими слаб; но зала, тесно заставленная стульями, его поразила. «Что это? – сказал он, остановясь и оглядываясь, – скажите, пожалуйста, театр! ведь я ничего не знал!» Общий веселый смех и рукоплескания раздались между гостями... Я не помнил себя от радости и дрожал, как в лихорадке, смотря на публику в отверстие, прорезанное на занавесе. Спектакль прошел благополучно, осыпанный рукоплесканиями зрителей и зритель-

ниц, разумеется, из одного желания сделать удовольствие хозяевам. Надо признаться в непростительной и нелепой дерзости, на которую подбили меня советы других и на которую решился я чуть ли не с согласия Дарьи Алексевны: играя свою роль, я подражал несколько выговору, походке и вообще манерам Александра Семеныча – одним словом, я передразнивал его. Это было замечено многими гостями и заставило их смеяться; но, разумеется, дядя ничего не заметил. Тетка сказала, однако, после спектакля в услышание всем: «Сергей Тимофеич так любит моего мужа, что даже походил на него в роли Старорусина». Без всякого самолюбия я скажу, что моя игра на театре слишком резко отличалась от игры других. Несмотря на молодость, я уже был опытный актер: я с пятнадцати лет постоянно изучал и разыгрывал разные роли если не на сцене, не перед зрителями, то у себя в комнате, перед самим собою; в настоящее же время в этом страстно любимом занятии руководствовал мною, как я уже сказал, знаменитый тогда актер Яков Емельяныч Шущерин. Я имел решительный сценический

талант и теперь даже думаю, что театр был моим настоящим призванием. Старики-посетители, почетные гости Шишковых, заметили меня, и Н. С. Мордвинов (будущий граф), М. И. Кутузов (будущий светлейший князь Смоленский), М. М. Бакунин, а более всех жена Кутузова, знаменитая своей особенной славой, женщина чрезвычайно умная, образованная и страстная любительница театра (известный друг актрисы Жорж), приветствовали меня уже не казенными похвалами, которыми обыкновенно осыпают с ног до головы всех без исключения благородных артистов. Кутузова изъявила мне искреннее сожаление, что я дворянин, что такой талант, уже много обработанный, не получит дальнейшего развития на сцене публичной, – и самолюбие мое было утешено. Дядя был совершенно доволен; Дарья Алексевна уверяла меня, что никогда не видала его таким светлым и веселым. Но никому из нас отдельно он не сказал благодарного или ласкового слова; бормотал только про себя: «Хорошо, очень хорошо, как будто целый век были актерами». На другой же день родилась у него мысль составить еще

спектакль и устроить в нем сюрприз для всех, особенно для его друга Н. С. Мордвинова; сюрприз состоял в том, чтобы разыграть на итальянском языке две сцены из трагедии Метастазия[22] (кажется, из «Александра Македонского»), состоящие из двух лиц: Александра Македонского и пастуха. Жена Мордвинова была англичанка,[23] воспитанная в Италии, и не знала по-русски; сам Мордвинов и все его семейство долго жили в Италии и говорили по-итальянски, как на своем языке. Племянник Александра Семеныча, Саша Шишков, говорил на этом языке также очень хорошо; ему назначили играть главную роль «пастуха», а брат мой, не знавший по-итальянски, должен был играть «Александра»; его роль умещалась на четырех страничках. Дядя написал ее своей рукой, в двух экземплярах, французскими и русскими буквами, с означением всех тончайших словоударений; он сам учил моего брата произношению с удивительным терпением и, говорят, довел его выговор, во всех певучих интонациях языка, до изумительного совершенства. Секрет был сохранен строжайшим образом; репетиции де-

лались в кабинете у дяди, и никто из знакомых не знал о приготовляемом сюрпризе. Чтоб не затрудняться постановкой новой пьесы, положили повторить «Старорусина». Должно сказать, что дяде было очень приятно слышать свои мысли с театральных подмостков даже в своей небольшой зале, и мы с его племянником, Казначеевым, заметя это, приготовили сюрприз ему самому: мы вставили в роль Старорусина много славянофильских задушевных мыслей и убеждений Шишкова, выбрав их из его печатных и рукописных сочинений и даже из разговоров. Через две недели дядя поехал сам приглашать гостей и пригласил столько, что половина их должна была поместиться в другой боковой комнате, из которой сцены не было видно. Тетка сердилась, ибо, кроме тесноты, надобно было приготовить ужин не только вдвое больше, но и вчетверо дороже, потому что в числе гостей находились люди уже не коротко знакомые. Дядя, впрочем, дал на ужин какие-то особенные свои деньги. Наконец, спектакль был сыгран. Первая пьеса шла «Старорусин»... Увы, дядя не заметил вставок! Только гово-

рил, что «Аксаков играет несравненно лучше прежнего». Итак, наш сюрприз не удался; но зато сюрприз Мордвиновым удался вполне: и Николай Семеныч, и его жена, и дочери были поражены звуками итальянского языка. Несколько мгновений не могли опомниться от изумления, а потом плакали от удовольствия, как дети. Никогда я не забуду этой минуты, когда, по окончании сцен из Метастазия, Мординов подошел к Шишкову. Прекрасное лицо этого чудного старика сияло радостью, а глаза блистали благодарностью за нежное внимание к его семейству. Молча, но красноречиво обнял он своего, на море и на суше испытанного, друга. Если б не было между гостями лишних бревен, как говорится, то есть лишних людей, то, без сомнения, общее удовольствие было бы гораздо теплее, живее и выразилось бы с большей искренностью.

Никого так не любил и не уважал Шишков, как Николая Семеныча Мордвинова. Его справедливые и очень смело высказываемые мнения, подаваемые им иногда в Государственном совете против единогласных реше-

ний всех членов, – в богатом переплете с золотым обрезом, с собственноручною надписью Шишкова: «Золотые голоса Мордвинова», – постоянно лежали на письменном столе у дяди в кабинете. Оба были моряки, и тесная дружба соединяла их издавна. Всем известно, что Николай Семеныч Мордвинов был замечательным и достойным уважения сановником. Некоторые из сослуживцев его не любили и даже распускали на его счет разные нелепые клеветы; но в обществе, где он был необыкновенно любезен, его любили и глубоко уважали все. Его старческая красота и благодушная ласковость в обращении имели в себе что-то обязательное. У каждого, с кем говорил Мордвинов, выражалось на лице удовольствие. При всяком случае, особенно после спектаклей, он говорил мне несколько любезных слов, и они долго и приятно отзывались у меня в сердце. Он имел привилегию целовать в губы знакомых дам и девиц, и я помню, что они весьма дорожили его поцелуями.

Этот спектакль оставил надолго приятное воспоминание в небольшом круге добрых

знакомых и друзей хозяина; недоброжелатели Шишкова, разумеется, смеялись над всем. Вообще Александр Семеныч и его добрая, достопочтенная, но не аристократичная супруга служили предметом насмешек для всех зубоскалов, которые потешали публику нелепыми о них рассказами. Исключительный образ мыслей Шишкова, его резкие и грубые выходы против настоящей жизни общества, а главное против французского направления — очень не нравились большинству высшей публики, и всякий, кто осмеивал этого старовера и славянофила, имел верный успех в модном свете. Впрочем, надо признаться, что Шишков был находка, клад для насмешников: его крайняя рассеянность, невероятная забывчивость и неузнавание людей самых коротких, несмотря на хорошее зрение, его постоянное устремление мысли на любимые свои предметы служили неиссякаемым источником для разных анекдотов, истинных и выдуманных. Рассказывали, будто он на серьезный вопрос одного государственного сановника отвечал текстом из священного писания и цитатами из какой-то старинной ру-

кописи, которая тогда исключительно его занимала; будто он не узнавал своей жены и говорил с нею иногда, как с посторонней женщиной, а чужих жен принимал за свою Дарью Алексевну. Я не считаю, впрочем, этого невозможным, потому что сам был свидетелем вот какого случая.

Наступил день, или, лучше сказать, ночь, назначенная для сожжения великолепного фейерверка, какого давно не видали в Петербурге, а многие говорили, что никогда такого и не бывало. Его устроили на судах, расположенных на якорях вдоль по Неве, против Зимнего дворца. Шишков имел небольшую, человек на двадцать галерею, или балкон, в Адмиралтействе, откуда почти так же хорошо было смотреть, как из дворца. Хотя тетка посердилась, что дядя не умел себе вытребовать лучшего помещения, но делать было нечего; она взяла свои меры и пригласила гостей столько, сколько могло поместиться. Племянник Саша с большим нетерпением ожидал этого праздника и написал даже стихи: «Ожидание фейерверка». Всех стихов не помню, но помню, что ловкий мальчик умел приноро-

виться ко вкусу дяди. Вот уцелевшие у меня в памяти первые четыре стиха:

*Настал, настал желанный день!
Спеши скорее ночи тень,
Чтоб огненные чудеса
Мои узрели очеса.*

Стихи очень понравились старику. Племянник не скрывал от нас, что написал такие вирши только для того, чтоб угодить дяде. Подраставший Саша начинал понимать Александра Семеныча и, когда хотел, умел подделываться к нему. Вся наша компания, которую бог знает почему Кикин называл Цизальпинской республикой[24], то есть я с братом и Казначеев с мнимыми родственниками, обедали в день фейерверка у Шишковых; вечером, вместе с ними, отправились в Адмиралтейство и заняли благополучно свою галерею. Но увы! все предосторожности тетки не послужили ни к чему: званые гости съехались, но вслед за ними стали являться незваные; Шишков не умел отказывать, и скоро стало так тесно, что мы едва лепились на лестнице, нарочно приделанной с наружной стороны здания. Фейерверк уже начался, как приехала

одна дама, очень уважаемая Шишковыми, заранее ими приглашенная, но опоздавшая. Пробриться сквозь толпу, стоявшую даже около лестницы, а потом взойти на лестницу – не было никакой возможности. Узнав об этом, Шишков сошел вниз, чтоб провести гостью; кое-как он сошел с лестницы, но не только провести даму – он сам уже не мог воротиться назад. Шишков успокоился невозможностью и пустился в разговоры с своей гостьей... о чем бы вы думали? о том, что весьма смешно толкаться и лезть в тесноту, чтоб посмотреть на огненные потехи, и что нелепо подражать французским модам и одеваться легко, когда на дворе стужа (а дама была очень легко одета). Собеседница бесилась, посылала мысленно к черту старого дурака славянофила (как она после сама рассказывала), но должна была из учтивости слушать его неуместные рассуждения; наконец, терпение ее лопнуло, и она уехала домой. Шишков, оставшись один, попытался взойти на галерею, но на второй ступеньке стоял широкоплечий полковник Карбонье, который на все просьбы и убеждения старика посторониться не обращал ника-

кого внимания, как будто ничего не слышал, хотя очень хорошо слышал и знал Шишкова. Наконец, мы услышали его голос и все четверо, пустив в авангард десятивершкового Хвощинского, бросились на выручку дяди, успели пробиться и взвели его на лестницу. Он не видал половины фейерверка; но всего забавнее было то, что он не узнал нас и нам же рассказывал на другой день, что «спасибо каким-то добрым людям, которые протащили его наверх» и что «без них он бы иззяб и ничего бы не видал». Эти добрые люди были Казначеев и я.

Дядя вообще был не ласков в обращении, и я не слыхивал, чтоб он сказал кому-нибудь из домашних любезное, приветливое слово; но с попугаем своим, из породы какаду, с своим Попинькой, он был так нежен, так детски болтлив, называл его такими ласкательными именами, дразнил, целовал, играл с ним, что окружающие иногда не могли удержаться от смеха, особенно потому, что Шишков с попугаем и Шишков во всякое другое время – были совершенно непохожи один на другого. Случалось, что, уезжая куда-нибудь по само-

нужнейшему делу и проходя мимо клетки по-
пугая, которая стояла в маленькой столовой,
он останавливался, начинал его ласкать и го-
ворить с ним; забывал самонужнейшее дело
и пропускал назначенное для него время, а
потому в экстренных случаях тетка провожа-
ла его от кабинета до выхода из передней.
Впрочем, Шишков был всегда страстный
охотник кормить птиц, и, где бы он ни жил,
стаи голубей всегда собирались к его окнам.
Всякое утро он кормил их сам, для чего по зи-
мам у него была сделана форточка в нижнем
стекле. Эта забава не покидала его и в чужих
краях. В 1813 и 1814 годах, таскаясь по Герма-
нии вслед за главной квартирой государя и
очень часто боясь попасться в руки францу-
зам, Шишков нередко жила, иногда очень
подолгу, в немецких городках. С первого дня
он начинал прикармливать голубей и прима-
нивал их со всего города к окнам своей квар-
тиры. Впоследствии, даже слепой, он выстав-
лял корм в назначенное время ощупью на до-
щечку, прикрепленную к форточке, и насла-
ждался шумом от крыльев налетающих со
всех сторон голубей и стуком их носов, клюю-

щих хлебные зерна. Я сам бывал свидетелем этого поистине умирительного зрелища.

Здесь кстати рассказать забавный анекдот и пример рассеянности Александра Семеныча, который случился, впрочем, несколько позднее. Я пришел один раз обедать к Шишковым, когда уже все сидели за столом. Мне сказали, что дядя обедает в гостях и что он одевается. Я сел за стол, и через несколько минут Александр Семеныч вышел из кабинета во всем параде, то есть в мундире и в ленте; увидев меня, он сказал: «Кабы знал, что ты придешь, – отказался бы сегодня обедать у Бакуниных».[25]

Я просиял от радости, а тетка поучительно и строго возразила: «Все пустое, Сергей Тимофеевич обедает у нас три раза в неделю, а тебя насилу дозвались Бакунины; я думаю, ты уже с год у них не обедал, сегодня же старший сын у них именинник...» и дядя смиренно побрел в переднюю. Минут через двадцать, только что мы хотели встать из-за стола, как вдруг является дядя. Все удивились. «Что с тобой?» – спросила тетка. «Вообразите, – отвечал Александр Семеныч, – приезжаю, а они уже почти

отобедали и назвали таких гостей, с которыми я даже не кланяюсь: господ N. N. и N. N. Дайте мне чего-нибудь поесть». Он сейчас очень проворно переоделся и сел за стол. Тетка с дамами, племянниками и молодыми людьми встали, а мы с Казначеевым остались: есть дяде решительно было нечего. Между тем тетка сейчас воротилась из гостиной и, сказав мимоходом своему супругу: «Это какой-нибудь вздор; никогда у Бакуниных не бывают N. N. и N. N.; и могут ли Бакунины позвать вместе с тобой людей, которые тебя терпеть не могут», – отправилась в переднюю и начала свои розыски. По следствию оказалось, что дядя, садясь в карету, вместо Бакуниных приказал ехать к Воронцовым[26], у которых он никогда не бывал. Ничего не замечая, он вошел в переднюю, где официант доложил ему, что господа почти откушали и скоро встанут из-за стола. Шишков удивился и, проворчав: «Да как же это, звали меня, да не подождали», спросил: «Кто здесь?» Официант назвал ему N. N. и N. N. Дядя еще больше удивился и уехал домой. Тетка раскричалась, хотела было опять одеть своего супруга и от-

править к Бакуниным; но дядя на этот раз уперся и, встав из-за стола, разумеется, совершенно голодный, сказал, «что он уже пообедал» – и пригласил нас с Казначеевым в кабинет, обещая прочесть что-то новое. Тетка еще больше расшумелась... тут досталось и славянским наречиям, которыми всегда набита голова Александра Семеныча, и нам с Казначеевым, которые из угождения толкуют с ним об этих пустяках, для чтения которых он не хочет ехать к Бакуниным, где, наверное, не обедают и ждут дорогого гостя. В заключение она прибавила, что теперь бог знает что подумают все их друзья и враги, узнав об этом самом неприличном посещении. «Да как в голову пришли тебе Воронцовы?» – «Да черт знает как: я об них и не думал», – отвечал дядя и увел нас в кабинет, где и прочел нам мысли о русском правописании, против которых мы отчасти возражали. Все это напечатано в 1811 году в числе «Разговоров о словесности». Тетка принуждена была написать к Бакуниным, что по таким-то причинам муж ее к ним сегодня не будет. В самом деле, посещение Шишкова, как нарочно сделанное не вовремя и

некстати, произвело много недоумений и толков, потому что он приезжал к своему первому ожесточенному противнику, известному по своей особенной дружбе с французским посланником, а посланник недавно жаловался государю на печатные враждебные и оскорбительные выходки Шишкова против французов. Итак, посещение Александра Семеныча получило особое значение. Воронцов, подумав, что Шишков приезжал для каких-нибудь объяснений, счел за долг на другой день отдать ему визит: свидание было презабавное. Скоро дело объяснилось и, украшенное добрыми людьми, долго занимало и потешало городскую публику.

Не знаю за что, но император Павел I любил Шишкова; он сделал его генерал-адъютантом, что весьма не шло к его фигуре и над чем все тогда смеялись, особенно потому, что Шишков во всю свою жизнь не ездил верхом и боялся даже лошадей; при первом случае, когда Шишкову как дежурному генерал-адъютанту пришлось сопровождать государя верхом, он объявил, что не умеет и боится сесть на лошадь. Это не помешало, однако,

императору Павлу I подарить Шишкову триста душ в Тверской губернии. Александр Семеныч, владея ими уже более десяти лет, не брал с них ни копейки оброка. Многие из крестьян жили в Петербурге на заработках; они знали, что барин получал жалованье небольшое и жил слишком небогато. Разумеется, возвращаясь на побывку в деревню, они рассказывали про барина в своих семействах. Год случился неурожайный, и в Петербурге сделалась во всем большая дороговизна. В один день, поутру, докладывают Александру Семенычу, что к нему пришли его крестьяне и желают с ним переговорить. Он не хотел отрываться от своего дела и велел им идти к барыне; но крестьяне непременно хотели видеть его самого, и он нашелся принужденным выйти в переднюю. Это были выборные от всего села; поклонясь в ноги, несмотря на запрещение барина, один из них сказал, что «на мирской сходке положили и приказали им ехать к барину в Питер и сказать: что не берешь-де ты с нас, вот уже десять лет, никакого оброку и живешь одним царским жалованьем, что теперь в Питере дороговизна и

жить тебе с семейством трудно; а потому не угодно ли тебе положить на нас за прежние льготные годы хоть по тысяче рублей, а впредь будем мы платить оброк, какой ты сам положишь; что мы, по твоей милости, слава богу, живем не бедно, и от оброка не разоримся». Услыхав такие речи, дядя пришел в неописанное восхищение, или, лучше сказать, умиление, не столько от честного, добросовестного поступка своих крестьян, как от того, что речи их, которые он немедленно записал, были очень похожи на язык старинных грамот. Дядя сейчас послал за Казначеевым и за мною. Нас не застали дома, и мы явились к нему уже после обеда. Старик еще не простыл и с несвойственным ему даже наружным жаром и волнением рассказал нам все происшествие и прочел записанные речи. «Вы, пожалуй, подумаете, что я пораскрасил их слова, – прибавил он, – ну так слушайте сами». Крестьян позвали, и дядя заставил их рассказать вновь все, сказанное ему поутру. Крестьяне повиновались, и речи их (они говорили оба) оказались очень сходными с теми словами, которые записал Шишков. Он рас-

спросил их кой о чем, подтвердил, чтоб их хорошенько угощали, и обещал на другой день написать письмо и отпустить домой. Он показывал своих крестьян Мордвинову и Кикину и заставлял повторять те же речи; но мне и Казначееву это не нравилось, и мы уговорили дядю никому более своих крестьян не показывать и отпустить поскорее домой. На третий день Шишков написал письмо, которого я не читал, но содержание которого состояло в том, что помещик благодарил весь мир за усердие, объявил, что надобности в деньгах, по милости царской, не имеет, и обещал, что когда ему понадобятся деньги, то ни у кого, кроме своих крестьян, денег не попросит. Выборных и дядя и тетка угощали по горло, чем-то подарили, облобызали и отпустили. Мы с Казначеевым были в восторге, но многие, в том числе и Дарья Алексевна, даже Мордвинов, находили такое бессребренничество излишним и неуместным. «Почему бы не положить, – говорили они, – легкий оброк, ничего не значащий для крестьян, когда сам помещик нередко нуждается в деньгах и часто не имеет свободного рубля, чтоб помочь бедно-

му человеку? Да и за что же все другие крестьяне или работают на господина, или дают ему оброк, или платят двойные подушные, как казенные крестьяне, а эти ничего не делают? Это несправедливо, это должно производить ропот между соседними крестьянами» и проч. и проч. Без сомнения, все это правда; но я полюбил Шишкова еще больше.[27]

Все, что я говорил и буду говорить о Шишкове, обнимает пространство времени с конца 1808 до половины 1811 года; все происходило точно тогда, но я не ручаюсь за хронологическую верность и последовательность рассказываемого мною. Мне потому именно вздумалось теперь оговориться, что я никак не могу отыскать настоящего времени, когда приезжала крестьянская депутация, сейчас описанная мною.

Шишков обыкновенно вставал поутру часов в семь зимою и в шесть – летом. Он прямо из спальни отправлялся в кабинет и не выходил из него (кроме двух присутственных дней в Адмиралтейском совете) до половины четвертого, если обедал дома, и до четырех часов, если обедал в гостях. После обеда немного

дремал, сидя в креслах в своем кабинете, и потом что-нибудь читал до отъезда в клуб или в гости. Работая постоянно часов по восьми в сутки, он исписал громадные кипы бумаги. Я помню, что и та книга, в которую он вписывал слова малоизвестные и вышедшие из употребления, попадавшиеся ему в книгах священного писания, вообще в книгах духовного содержания, в летописях и рукописях, — что эта, так сказать, записная книга была ужасающей величины и толщины. Без преувеличения можно сказать, что исписанных им книг и бумаг, находившихся в его кабинете, нельзя было увезти на одном возу; но, кажется, многие его ученые труды после его кончины, а может быть, еще и при жизни, которая долго тлелась в его уже недвижимом теле, погибли без следа. Толстая книга и две тетради, писанные рукою Шишкова, через месяц после его смерти были случайно куплены сыном моим на Апраксинском рынке, где продают книги и рукописи на рогожках: это был «Корнеслов» и «Сравнительный словарь» славянских наречий. Продавец знал, что продает, и сам сказал моему сыну, что рукописи

принадлежат Александру Семенычу Шишкову, писаны им самим и что он купил в его доме все книги и бумаги, оставшиеся после покойного. Я не знаю, соблюдалась ли правильная система в работах Шишкова, и не умею определить, до какой степени были важны его труды; но что он трудился много, добросовестно и благонамеренно – в этом не может быть никакого сомнения. Важность его ученых заслуг по морской части признавалась тогда всеми, и я слышал, что недоброжелатели Шишкова отдавали ему в этом случае полную справедливость. Кроме ученых занятий и русской литературы, Александр Семеныч любил итальянских поэтов. Он перевел «Тассовы ночи» и назвал их «Бдениями». Перевод тяжел, но не лишен чувства и силы. Александр Семеныч сам превосходно читал его, одушевленно и драматично, и не раз приводил меня в изумление. Я, будучи страстным охотником читать, то есть выражать внешним образом чувства другого, переживаемые собственной душою, и находивший в этом неизъяснимое наслаждение, – я сам много трудился над «Бдениями Тасса». Я знал эту

тяжелую прозу почти наизусть, и хотя все хвалили меня, но мне казалось, что дядя лучше, проще, вернее моего выражает тоскливый бред полупомешанного поэта. Я помню также небольшую книжку мелких стихотворений и переводов в стихах Александра Семеныча, которую знали только самые короткие и домашние люди. Там находилась даже не совсем приличная и грубая эпиграмма на французов. Легкостью и остроумием грех было поклепать дядю; это было не его дело. Я помню одно сатирическое послание к Александру Семенычу Хвостову, где в каждом куплете осмеивался кто-нибудь из знакомых людей противного образа мыслей и жизни. Вот один уцелевший как-то в моей памяти куплет:

*Реши, Хвостов, задачу:
Я шел гулять на дачу,
Туда же и Глупон;
Весь в блесках, в злате он,
С лорнетом при зенице,
С массою д'Еркюль в деснице...[28]
Жеманится, кривится,
Зовет меня с собой.
Не лучше ль воротиться*

Отселе мне домой?

Между тем на следующую зиму состоялись у нас еще два спектакля. Были сыграны пьесы: комедия «Береговое право» Коцебу и «Театральное предприятие», комедия в стихах Ефимьева[29]; названий других двух небольших пьес не помню. Комедия Ефимьева состояла из двух лиц: одного, пожилого господина, затевающего устроить театр, и другого, молодого человека, который, чтоб отвратить первого – своего хорошего приятеля – от этого предприятия, является, для определения в актеры, в разных видах и костюмах: дразнит и дурачит бедного антрепренера и, наконец, посылает в нем отвращение к театру. Я играл любителя театра, а роль переодевающегося семь раз приятеля играл П. Н. Семенов, бывший тогда подпрапорщиком в Измайловском полку, которого я нарочно для этого спектакля познакомил с домом Шишковых. Он был большой мастер передразнивать всякие карикатурные личности, и вся наша публика много смеялась от его игры. Моя роль была самая бесцветная, однообразная, нужная только для того, чтоб мог выказываться талант моего то-

варища; но нашлись ценители, которые говорили, что я в этой роли показал больше искусства, чем в прежних ролях. В одной сцене, где Семенов представлял толстяка, желающего определиться в актеры, нижние пуговицы камзола у него расстегнулись, и угол подушки, из которой состояло брюхо, высунулся. Семенов смутился, но я взял его за руку, повернул к зрителям боком, закрыл собою, импровизировал какой-то вздор стихами, застегнул камзол Семенову, даже сказал ему следующую, забытую им реплику, потому что имел привычку знать наизусть пиесу, в которой играю, – и пиеса сошла благополучно. Зрители наградили меня за присутствие духа громким и продолжительным рукоплесканием. Дядя очень смеялся и после спектакля сказал мне: «Ну, брат, ты точно родился на сцене: это твой дом».

Кажется, в этот же вечер случилось происшествие, за которое долго бранили дядю; да и нам с Казначеевым досталось от тетки, ибо мы были признаны соучастниками и пособниками Александра Семеныча. Происшествие состояло вот в чем: я уже упоминал о девице

Марье Ардальоновне Турсуковой, которая с прекрасной наружностью соединяла светскую любезность, в хорошем значении этого слова, и образованность. Старик Шишков очень ее любил, но в настоящее время он был несколько сердит на нее за то, что она отказала Петру Андреичу Кикину, за которого, впрочем, чрез несколько лет вышла замуж. У Турсуковой был великолепный рисовальный альбом, в котором находилось множество рисунков, замечательных по собственному достоинству и по именам европейских и петербургских знаменитостей и дилетантов живописи. Не знаю, попадался ли прежде на глаза дяде этот альбом, только я и Казначеев, рассматривая его в первый раз на столе в гостиной, увидели, что под всеми рисунками, рисованными русскими художниками и любителями, имена подписаны по-французски, равно как имя и фамилия самой Турсуковой. Нам показалось досадно, и мы навели дядю на то, чтоб он стал рассматривать альбом; а чтоб он не проглядел подписей, я указал ему имя известного русского живописца, подписанное по-французски, и сказал Казначееву вполго-

лоса, но так, чтоб дядя слышал: «Какой позор! русский художник рисует для русской девушки и не смеет или стыдится подписать свою фамилию русскими буквами, да и как исковеркал бедное свое имя!» Казначеев отвечал мне в том же тоне, и дядя воспламенился гневом: начал бранить Турсукову, рисовальщиков, общество и пробормотал: «Жаль, что нет чернильницы и пера; я переправил бы их имена по-русски». В одну минуту я принес чернильницу с пером, и дядя широкою, густою чертою вымарал французскую подпись и крупными русскими буквами, полууставом, подписал под ней имя и фамилию рисовавшего живописца: кажется, первый попался Кипренский. Дело было начато. Дядя расходился и, сказав: «Да их надо все переправить», взял альбом и унес к себе в кабинет. Гости, из мужчин постарше, все уже разъехались, остальные были заняты между собой, никто не обращал на нас внимания и никто не заметил наших проделок. Через полчаса дядя кончил свою работу и отделал альбом на славу: все имена и фамилии русских были зачеркнуты старательно, широко, крепко, неопратно – и

написаны по-русски, а сверх того на первой белой странице явились следующие стихи:

М. А. Турсуковой

*Без белил ты, девка, бела,
Без румян ты, девка, ала,
Ты честь-хвала отцу, матери,
Сухота сердцу молодецкому.*

Александр Шишков.

Внизу поставил год и число. Альбом вложили в футляр, завернули и положили на стол, на прежнее место; никто ничего не заметил, и Турсукова увезла альбом домой. Подвиг дяди открылся не вдруг. Мы все трое, разумеется, молчали; но через несколько дней, пришедши, по обыкновению, к Шишковым обедать, мы нашли тетку в страшном гневе. Она получила поутру отчаянную записку от Турсуковой. Дяди не было дома, и Дарья Алексевна, очень любившая Турсукову (а она умела любить горячо, несмотря на наружную холодность), сейчас к ней поехала, и что же она там нашла? – Великолепнейший альбом, объехавший всю Европу и лично собравший на свои страницы искусные черты и славные

имена артистов с их почерками, чтимый и хранимый благоговейно, которым гордилась владетельница, как будто заслугой, — испачкан, измаран, исписан варварскими и неуклюжими буквами, потому что почерк дяди был вовсе не каллиграфический! Турсукову она нашла в слезах, почти больною; отца, нежно любившего единственную дочь, — огорченным и расстроенным. Можно себе представить, как встретила Дарья Алексевна своего супруга, когда он воротился из Адмиралтейства! Но что с ним станешь делать? На все упреки и обвинения он спокойно и даже с улыбкою отвечал, что «ему так следовало поступить, что стыдно русской барышне подписывать свое имя по-французски и тем заставлять других подписывать так же, что это срам и позор, что он очень рад, если Марья Ардалионовна плачет: пускай чувствует наказание за вину, пускай исправится...» и проч., а затем ушел в кабинет, занялся славянским корнесловием и скоро забыл Турсукову, альбом и раздраженную свою супругу. В самый разгар грозы попался я с Казначеевым: гнев тетки, отскочив от невозмутимого спокой-

ствия дяди, как мячик от стены, разразился на нас. Тетка еще до нашего прихода выспросила искусно все у старика и поняла, что это наше дело. Она так отделала нас с Казначеевым, что мы ушли от обеда и не приходили ровно десять дней. Первые дни Шишкову как будто недоставало нас; каждый раз за обедом он спрашивал: «Да где же Аксаков с Казначеевым?» Может быть, ему отвечали что-нибудь, а может быть, и ничего не отвечали – это было все равно; через неделю он привык к нашему отсутствию и даже перестал об нас спрашивать. Но тетка в глубине души была предобрая женщина. Она любила нас обоих, как родных: ей грустно было не видеться с нами и, может быть, даже совестно, что она слишком нас оскорбила. Она написала записку к Казначееву, звала его и меня и прибавила, что все прошедшее забыто. Мы пришли, и Дарья Алексевна искренно, со слезами, помирилась с нами и даже обняла нас обоих; тут я только увидел, что она и меня очень любит. Обращаюсь к альбому: в Петербурге не нашлось тогда искусника, который взялся бы выводить все черты, полосы и пятна, сделан-

ные Шишковым, но нашелся француз, который взялся поправить дело в Париже. Альбом отправили туда к какому-то химику, и чрез несколько месяцев измаранные листы воротились чистыми и подписи были восстановлены по возможности в прежнем виде. Лист со стихами, написанными Шишковым, остался неприкосновенным, и его в Париж не посылали.

Спектаклей у Шишковых более при мне не было. Раз в неделю, не помню именно в какой день, собирались у Александра Семеныча тогдашние литераторы и кое-что читали. Сначала эти собрания были малочисленны. Постоянными посетителями были: Гаврила Романыч Державин, Иван Иванович Дмитриев (тогдашний министр юстиции), князь С. Шихматов, граф Дмитрий Иванович Хвостов, Александр Семеныч Хвостов и князь Александр Александрович Шаховской[30]. Приезжали иногда, как простые посетители и дилетанты, Николай Семеныч Мордвинов, Михаил Михайлыч Бакунин, граф Строганов[31] и А. Н. Оленин[32]. Видел я также раза два сидевшего в уголку с подобострастием семенов-

ского полковника А. А. Писарева[33]. Впоследствии стали ездить П. А. Кикин, князь Платон Шихматов, Николай Иванович Гнедич, сенатор Захаров[34], Висковатов[35], Стурдза[36], князь Горчаков[37], Станевич[38], П. Ю. Львов [39] (сочинитель Храма славы русских героев) и Гераков[40]. В первую половину зимы 1811 года родилась и образовалась мысль составить «Беседу русского слова», которая и была приведена в исполнение. Я, так же как и Писарев, смиренно сживал иногда в углу большой гостиной безмолвным слушателем того, что читалось и говорилось в этих собраниях. По совести должен я сказать, что ничего замечательного не происходило и даже тогдашним моим понятиям не удовлетворяло. Что бы кто ни прочел – все остальные говорили одни пошлые комплименты; критические замечания были еще пошлее. Только иногда горячился и бормотал князь Шаховской да отпускал злые эпиграммы в виде похвал Алекс. Сем. Хвостов на своего однофамильца графа Хвостова, который принимал их за наличную монету. Помню я одну его наивную выходку, которая заставила всех долго смеяться. Читал

какую-то свою пиесу в прозе Станевич; по окончании чтения Шишков и кто-то другой стали его хвалить; вдруг граф Хвостов встал с кресел, подошел к Державину, потрепал его по плечу и сказал: «Нет, Гаврила Романыч, он не наш брат, а их брат» – и указал на Александра Семеныча Шишкова и П. Ю. Львова. Все захохотали, хотя не вдруг поняли. Граф Хвостов хотел сказать, что Станевич не лирик, а прозаик и критик.

Шишков не был увлечен и обольщен блистательным успехом трагедии Озерова «Дмитрий Донской». Он превозносил преувеличенными похвалами «Эдипа в Афинах» и даже «Фингала», но ожесточенно нападал на «Дмитрия Донского». Шишков принимал за личную обиду искажение характера славного героя Куликовской битвы, искажение старинных нравов, русской истории и высокого слога. Всего более сердили его слова Донского, которыми он описывает, как увидел в первый раз Ксению в церкви:

*Исчезли в мыслях храм, останки
те нетленны,
Пред коими и дочь и мать пре-*

*клоненны,
Молили пременить на милость
гнев небес.*

«Хорош великий князь Московский! – говорил Шишков. – Увидав красивую девицу в Успенском соборе, невзвидел святых мощей и забыл о них. Можно ли написать такую дичь о русском великом князе, жившем за четыреста лет до нас?» Не менее сердили его слова Дмитрия, который в оправдание своей любви говорит Брянскому[41]:

*Не осуждай ее: она счастливый
дар;
Она произвела сей доблественный
жар,
С которым я стремлюсь отече-
ство избавить,
Свободу возвратить и мой народ
прославить.*

Александр Семеныч выходил из себя от гнева и говорил: «Спасибо хоть Брянскому, который возражает Дмитрию: ах, какой же ты подлец!» Шишков очень глумился над словами Ксении, которая говорит Тверскому:

Обещана тебе еще в такие годы,

Как выходила я едва из рук природы, —

и требовал от сочинителя, чтоб он назначил то время, когда человек выходит из рук природы. Справедливость, однако, требует сказать, что некоторые стихи Шишков называл достойными Корнеля и Расина, например:

*Мой долг: в день мира суд и мужество
в день брани,*

или:

*В сраженье смерть найду, но
смерть завидну, славу
И предпочтительну той жизни,
к которой стыд
Побега вашего по гроб обременит.*

Само собою разумеется, что Шишков не мог примириться с влюбленностью Дмитрия и с приездом Ксении в воинский стан, как будто для бракосочетания с Тверским, а в самом деле для того, чтобы сказать ему, в присутствии всех русских князей, что она за него идти не хочет, но идет в монастырь. Шишков не удовольствовался словесною кри-

тикою: он велел переплести трагедию с белыми листами и все исписал их собственной рукою, самым мелким почерком, каким только мог писать. Он читал один раз при мне свои замечания Мордвинову, А. С. Хвостову, Кикину и другим. Все слушатели очень смеялись. В самом деле, многие полемические выходки дяди, даже не совсем приличные, были очень забавны. Разумеется, Шишков заходил слишком далеко и утверждал, что, кроме некоторых блестящих стихов, язык у Озерова хуже, чем у Сумарокова, и в доказательство приводил, разумеется, весьма плохие стихи из «Дмитрия Донского», как, например, следующие:

*Пускай все воинство и вся Россия
пусть
Познают, коль хотят, любовь
мою и грусть!
Лишь Ксения признать любви сей
не хотела,
Всей горести моей она не пожалела,
ла,*

или когда Ксения говорит:

Когда Дмитрия сие мне сердце

*страстно
Не престаёт являть повсюду и
всечасно.*

Или:

*Ах, нет: до днесь еще толь мрач-
ные печали, и проч.*

Для большего эффекта, после таких стихов, Александр Семеныч щеголял стихами Сумарокова из трагедии «Семира».

Иду отечества к преславной обороне:

*Ты будешь зреть меня иль мерт-
ва, иль в короне.*

Относительно языка у Шишкова много было натяжек и пустых придировок к мелочам. Я этому не удивлялся, потому что Александр Семеныч бывал пристрастен как в похвалах, так и в порицаниях; но вот что всегда меня удивляло: разобрав весьма справедливо, и даже иногда очень тонко, неправильность, неприличность выражения, несогласие его с духом языка, он вдруг приводил в пример стихи из Сумарокова, которые были гораздо хуже тех, на которые он нападал. Что же касается до исторической драмы, до характеров

действующих лиц, то все его замечания были совершенно справедливы. Я сделал себе точно такую же книжку с белыми листами и, с позволения Александра Семеныча, списал все его заметки. К сожалению, уезжая из Петербурга, я оставил эту книжку у Шушерина, который желал списать ее для себя, а Шушерин, во время переезда из Петербурга в Москву, как-то потерял ее. К этому должно прибавить, что в конце 1815 года или в начале 1816-го я слышал в Москве, как профессор Мерзляков разбирал «Димитрия Донского» с кафедры на публичной лекции – и был поражен изумлением: Мерзляков почти во всех своих критических замечаниях совершенно сходил с Шишковым. Я немедленно сказал об этом знаменитому тогда критику и даже сообщил ему некоторые полемические заметки Шишкова, тогда еще хранившиеся в моей памяти. Мерзляков очень забавлялся и заинтересовался ими и убедительно просил меня как-нибудь отыскать этот любопытный разбор; но я вскоре уехал на десять лет в деревню, и книжка была забыта.

Летом 1811 года я уехал из Петербурга в

Оренбургскую губернию, и с этого времени прекратились мои частые и близкие сношения с домом Шишковых. Я приезжал в Петербург уже, так сказать, на побывку. Наступила вечно памятная эпоха 1812 года, и с удивлением узнал я, что Александр Семеныч был сделан государственным секретарем на место Михаила Михайловича Сперанского. Нисколько не позволяя себе судить, на своем ли он был месте, я скажу только, что в Москве и в других внутренних губерниях России, в которых мне случилось в то время быть, все были обрадованы назначением Шишкова и что писанные им манифесты действовали электрически на целую Русь. Несмотря на книжные, иногда несколько напыщенные выражения, русское чувство, которым они были проникнуты, сильно отзывалось в сердцах русских людей.

В 1814 году я приехал в Петербург. Александр Семеныч только что воротился из чужих краев. Он жил уже не в прежнем своем скромном домике на Форштатской улице, а в великолепной казенной квартире против дворца. Образ жизни его изменился; ученые

филологические труды прекратились; другие люди стали посещать его; другие мысли и заботы наполняли его ум и душу, и живое воспоминание только что разыгранной исполинской драмы, в которой сам он был важным действующим лицом и двигателем народного духа святой Руси, – подавило его прежние интересы; но он встретил меня и брата с прежним радушием и с видимым удовольствием; Дарья Алексевна – также. Перемена в общественном положении не произвела в них никакой перемены. Много наслушался я рассказов любопытных и поучительных, но рассказам этим здесь не место. Впрочем, некоторая часть слышанного мною напечатана в собственных записках Шишкова. Мы бывали у Шишковых не так часто, как прежде, но непременно всякую неделю.

В это время ходила по Петербургу пародия известного стихотворения Жуковского «Певец в стане русских воинов», написанная на Шишкова и на всю вообще «Беседу русского слова». Один раз племянник Александра Семеныча, Саша Шишков, быв со мной в кабинете у дяди, сказал мне на ухо: «Если б дядя

знал, что у меня в кармане!» – «Что же у тебя такое?» – спросил я. – «Пародия на дядю, и на всю Беседу, написанная Батюшковым».[42]

Старик Шишков был занят чем-то другим. Я пробежал пародию и положил в карман, сказав Саше, что я прочту ее дяде, который выслушает ее с удовольствием. Саша умолял меня не делать этого, но я не послушал и, обратившись к Александру Семенычу, сказал: «Знаете ли вы, что по Петербургу ходит пародия „Певца в стане русских воинов“ на вас и на всех членов Беседы?» – «Нет, не знаю. Да хороша ли?» – «Все хвалят, – сказал я, – хотите, я вам прочту?» – «Прочти, пожалуйста». И я при всех, кто были в кабинете, торжественно прочел пародию. Александр Семеныч был очень доволен, улыбался и, когда я кончил, сказал: «Это забавно. Дайте мне, пожалуйста, список». Саша очень струсил, что я отдам тот, по которому читал, написанный его рукою, но я вывел его из затруднения, отдав ему список и сказав: «Саша вам спишет». Из этой баллады уцелели в моей памяти следующие стихи:

Да здравствует Беседы царь!

*Цвети твоя держава!
Бумажный трон твой – наш ал-
тарь,
Пред ним обет наш – слава!
Не изменим, мы от отцов
Прияли глупость с кровью.
Сумбур! Здесь сонм твоих сынов,
К тебе горим любовью.
Наш каждый писарь – славянин,
Галиматьею дышит;
Бежит предатель их дружин
И галлицизмы пишет.*

Вот конец куплета, непосредственно относившегося к Александру Семенычу, а начала не помню:

*Ошую пусть сидит с тобой
Осьмое чудо света,
Твой сын, наперсник и клевет
Шихматов безглагольный.[43]
Как ты, славян краса и цвет,
Как ты, собой довольный.*

В начале 1815 года семейные обстоятельства внезапно вызвали меня из Петербурга. Оставляя брата жить у полковника Мартынова и поручив его вниманию и участию Шишковых, я поскакал сломя голову в Вятскую, а по-

том в Оренбургскую губернию. С 1807 года я не расставался с братом, и это была первая разлука.

В 1816 году я приезжал из Москвы, где тогда жило все наше семейство, на три месяца в Петербург собственно затем, чтоб взглянуть на брата: я нашел его любимцем обоих Шишковых. Эти три месяца я был совершенно поглощен неожиданным знакомством с Державиным, знакомством, в несколько дней сделавшимся близким и задушевным, навсегда сохранившим для меня великое значение. С Александром Семенычем я видался редко, за что он мне даже пенял.

Здесь следует огромный промежуток времени: я женился и уехал на десять лет в Оренбургскую деревню. Я переехал на житье в Москву в 1826 году, во время коронации, и нашел в Москве Шишкова уже министром народного просвещения. Много совершилось перемен в это десятилетие! Доброй, истинно доброй и достойной уважения Дарьи Алексевны Шишковой – уже не было на свете. Бог послал ей страдальческую кончину. Александр Семеныч, имея нужду в няньке, как сам гово-

рил мне, женился, несмотря на свои преклонные лета и хворость, на полячке и католичке, Ю. О. Лобаршевой, к общему удивлению и огорчению всех близких к нему людей. В Москве, так же как и прежде, Шишков встретил меня с неизменным радушием и ласкою. Не видавши меня десять лет, он очень мне обрадовался, расспрашивал меня обо всех подробностях деревенской жизни, обо всем, что я делал; удивлялся, как я мог прожить в такой глуши десять лет, и, выслушав внимательно мои причины, мою цель, простодушно мне сказал: «Ну, брат, я тебя еще больше уважаю и скажу тебе правду, что ты в деревне не одичал и не поглупел». Рассказывая откровенно Шишкову мои обстоятельства, я говорил ему, что мне нужно место в Москве с порядочным жалованьем. Я говорил в то же время о новом особом цензурном комитете в Москве, о хорошем цензорском жалованье и спрашивал, кого он имеет в виду для занятия этих мест? Недогадливость Шишкова осталась прежняя. Он отвечал мне, что охотников и просьб об них много, но сам он еще не выбрал никого; так мы и расстались. Делать было нечего. Дня

через два я опять приехал к нему и спросил его прямо: «Не могу ли я занять место цензора?» Шишков был очень рад и отвечал мне: «Почему же нет? Лучшего цензора я желать не могу. В твоих правилах я уверен, как в моих собственных...» и очень удивлялся, как это ему самому не пришло в голову. Он немедленно назначил меня цензором и уехал в Петербург.

Что касается до управления Министерством народного просвещения, то я не беру на себя судить об этом. Шишков, может быть, слишком односторонне смотрел на предметы и везде проводил свои убеждения, благие и честные в основании, но уже устаревшие, или, лучше сказать, потерявшие свою важность. Время шло быстро. Шишков не всегда это замечал и, живя в прошедшем, иногда не видел потребностей настоящего. Шишков боролся упорно, но, наконец, убедившись, что он как министр не может быть полезен, вышел в отставку.

В 1829 году я приезжал в Петербург на короткое время и виделся с Шишковым несколько раз. Здоровье его начинало сла-

беть. Он жаловался мне на свои глаза, говоря, что уже не может так много читать и писать, как прежде. Он оставался членом Государственного совета, президентом Российской академии и получал все прежние свои оклады, следовательно мог жить в довольстве. Общество его совершенно переменялось. Шишков, заклятый враг католиков и поляков — был окружен ими. Новая супруга наводнила его дом людьми совсем другого рода, чем прежде, и я не мог равнодушно видеть почтенного Шишкова посреди разных усачей, самонадеянных и заносчивых, болтавших всякий вздор и обращавшихся с ним слишком запросто. Хотя Шишков, по-видимому, спокойно примирился с новым своим положением, но смотреть на него было мне слишком тяжело. Я приезжал к нему всего раза три, да и все прежние знакомые стали редко к нему ездить.

В 1832 или 1833 году приезжал Александр Семеныч со своей молодой супругой в Москву, чтоб лечиться искусственными минеральными водами, которых в Петербурге еще не было. Он жил у старинных своих друзей, Ба-

куниных. Я нередко приходил к нему; он всегда был мне очень рад и охотно говорил о русской словесности. Я представил тогда ему моего старшего сына, который был воспитан в чувствах уважения к Шишкову. Александр Семеныч очень его полюбил и даже обласкал, вопреки своей обыкновенной неласковости. Воды не помогли больному, уже дряхлому старику: напротив, были вредны, и он скоро уехал в Петербург. Памятником этого последнего пребывания Шишкова в Москве остался у меня одиннадцатый том Русской истории Карамзина, изданный после его смерти Д. Н. Блудовым[44]. Шишков брал его у меня, чтоб прочесть, и сделал на полях много замечаний. В это же время представил я Александру Семенычу, как президенту Русской академии, Ю. И. Венелина[45], книгу которого «Древние и нынешние болгары» он знал и очень уважал. Следствием этого знакомства было путешествие Венелина в Болгарию. По предложению Шишкова Российская академия назначила Венелину три тысячи рублей ассигнациями на путевые издержки.

В 1836 году я опять ездил в Петербург. Здо-

ровье Александра Семеныча Шишкова и особенно зрение очень ослабели, но я нашел его бодрым духовно и даже иногда веселым. Он почти оцупью отыскивал в шкафе нужную ему книгу, доставал ее и заставлял меня кое-что прочесть вслух. В одной рукописной его книге (не помню, как она называлась) читал я, признаюсь, с предубеждением и недоверчивостью, предсказание Шишкова о будущей судьбе Европы, о всех ее революциях и безвыходных неурействах. Увы! все исполнилось и исполняется с поразительной верностью. Шишков говорил мне, что он одиннадцать лет тому назад письменно предсказал за год одно важное событие, но что тогда только смеялись над ним; да и после, когда предсказание исполнилось, никто не обратил на это внимания. Один раз вдруг вошла к нам в кабинет молодая дама или девушка, которая была необыкновенно хороша собою; Шишков был так любезен и весел с нею, что я во всю мою жизнь никогда его таким не видывал. Когда красавица ушла, Александр Семеныч со вздохом сказал мне: «Скверное, брат, положение, не могу различить прекрасной женщи-

ны от уroda». Подивился я таким словам, каких никогда прежде от него не слыхивал. Не знаю почему, только вторая супруга не показывалась в кабинете Александра Семеныча: за ним ходили внимательно и нежно его родные племянницы.

В 1839 году, в ноябре, я приезжал в Петербург вместе с Гоголем. Шишков был уже совершенно слеп. Я навещал довольно часто Александра Семеныча: он был еще на ногах, но становился час от часу слабее, и жизнь, видимо, угасала в нем. Я никогда не говорил с Шишковым о Гоголе: я был совершенно убежден, что он не мог, не должен был понимать Гоголя. В это-то время бывал я свидетелем, как Александр Семеныч кормил целую стаю голубей, ощупью отворяя форточку и выставляя корм на тарелке.

Наконец, в исходе 1840 года одно печальное происшествие неожиданно вызвало меня в Петербург, и я видел в последний раз Александра Семеныча Шишкова. Это был уже труп человеческий, недвижимый и безгласный. Только близко наклонясь к нему, можно было заметить, что слабое дыхание еще не прекра-

тилось. Мне рассказывали, что он и прежде бывал иногда в таком положении по нескольку недель, что его жизнь поддерживали, вливая ему в рот раза четыре в день по нескольку ложек бульона, что иногда вдруг это состояние проходило, он как будто просыпался, начинал сидеть на постели, вставать и ходить по комнате с помощью других и выезжал прокатываться. Академические заседания собирались у него в комнате. Рассказывали мне также, что один раз, во время подобного летаргического сна, когда уже никто не церемонился около него, говорили громко, шумели и ходили, как около покойника, к которому все равнодушны, вдруг вбежал камердинер и сказал довольно тихо, что государь остановился у ворот и прислал спросить о здоровье Александра Семеныча. К общему изумлению, почти испугу, в ту же минуту Шишков открыл глаза и довольно твердым голосом сказал: «Благодарю государя! Скажи ему, что мне лучше», – и впал в прежнее бесчувствие, продолжавшееся еще две недели. Вскоре по возвращении в Москву получил я известие, что отлетело последнее дыхание жизни, так долго

боровшееся со смертью, что Александр Семечныч скончался.

Много несправедливого, неверного, смешного и нелепого говорило об этом человеке злая привычка человеческого. Но, откинув в сторону все тонкие рассуждения о недостатках и слабостях почившего брата, нельзя не сознаться, что, проходя обширное, многозначительное поприще службы в самых трудных обстоятельствах государства, начав с Морского кадетского корпуса, где Шишков был при Екатерине учителем, дойдя до высокого места государственного секретаря, с которого он двигал духом России писанными им манифестами в 1812 году, – Шишков имел одну цель: общую пользу; но и для достижения этой святой цели никаких уступок он не делал. Никогда Шишков для себя ничего не искал, ни одному царю лично не льстил; он искренно верил, что цари от бога, и был предан всею душою царскому сану, благоговел пред ним. Шишков без всякого унижения мог поклониться в ноги своему природному царю; но стоя на коленях, он говорил: «Не делай этого, государь, это не хорошо». Убеждения Шишко-

ва были часто ошибочны, но всегда честны. Он не выходил из круга умственных понятий своего времени, круга нередко тесного и ограниченного, но не изменял своим правилам никогда. Эту твердость называли упрямством, изуверством; но боже мой, как бы я желал многим добрым людям настоящего времени поболее этого упрямства, этой горячей ревности! На литературном поприще, которое предшествовало государственному, Шишков действовал точно так же. Он восстал против победоносного могущества новизны и таланта, всех пленившего, всех увлекшего за собою, восстал, потому что считал это увлечение вредным, восстал один против несметного полчища поклонников торжествующей новизны, сильных и раздражительных; он был осмеян, унижен, ненавидим, гоним общественным мнением большинства... но он сделал свое дело. Старовер, гасильник, славянофил Шишков – открыл глаза Карамзину на вредные последствия его нововведений в русское слово. Сам благородный и добрый Карамзин говорил мне (в 1816 году), что у Александра Семеныча много гнева, много желчи,

много личной к нему враждебности, а потому много и несправедливого, но есть много и правды. В деле суда и осуждения общественной нравственности, связанном неразрывно у Шишкова с делом литературы, он был еще справедливее и заслуживает еще более уважения, хотя мало имел влияния и оказал, может быть, менее пользы. Собственно же за русское направление, за славянофильство, как бы Шишков ни понимал его криво, которое он исповедовал и проповедовал с юных лет до гробовой доски, которого был мучеником, – он имеет полное право на безусловную, сердечную нашу благодарность. История будет беспристрастнее, справедливее нас. Имя Шишкова как литератора, как общественного и нравственного писателя, как государственного человека, как двигателя своей эпохи – займет почетное место на ее страницах, и потомство с бóльшим сочувствием, чем мы, станет повторять стихи Пушкина:

*Сей старец дорог нам: он блещет
среди народа
Священной памятью двенадцатого
года.*

Примечания

1

Эти два стиха написаны золотыми буквами под бюстом Александра Семеновича Шишкова, поставленным в Российской академии. Эпиграф – из пушкинского «Второго послания к цензору» (1824). Первую строку следует читать: «Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа».

[^^^]

2

Шишков Александр Ардалионович (Шишков 2-й) (1799–1833) – поэт-переводчик; был убит на улице в г. Твери.

[^^^]

3

Профессор русской словесности.

[^^^]

4

Напечатанную еще в 1803 году, но которая только через два года дошла до Казанского университета.

[^^^]

5

«*Детская библиотека*» – издавалась на немецком языке педагогом и писателем Иоахимом Генрихом Кампе (1746–1818). В переводе А. С. Шишкова вышли две части (СПб. 1788), выдержавшие несколько изданий.

[^^^]

6

Бартельс Мартин Федорович (1769–1837) – профессор математики; в 1806 г. был избран почетным членом Казанского университета, а год спустя получил здесь кафедру математики.

[^^^]

7

Вронченко Федор Павлович (1780–1852) – чиновник министерства финансов, впоследствии министр финансов.

[^^^]

...отвел в сторону старшего чиновника письменоводства, Н. С. Скуридина. – Во «Встрече с мартинистами» упоминается А. С. Скуридин. Имеется ли в виду одно и то же лицо, или же речь идет о двух разных – неизвестно. В истории Казанской гимназии значатся братья Скуридины – Николай и Александр (см. Н. К. Горталов. Из прошлого императорской Казанской 1-й гимназии. Казань, 1910, стр. 39).

[^^^]

...положено было представить меня главе славянофилов. – Слово «славянофил» имеет здесь не тот смысл, который оно обретет в 40-х гг. Славянофилами в начале XIX в. называли ревностных сторонников А. С. Шишкова.

[^^^]

Шишков имел привычку, занимаясь чтением и размышлением, скатывать восковые шарики, обирая и общипывая воск со свечей. Он очень любил разные лакомства, особенно плоды и ягоды.

[^^^]

Ширинский-Шихматов Сергей Александрович (1783–1837) – поэт, член шишковской «Беседы любителей русского слова», в идейно-литературной борьбе начала XIX в. занимал крайне реакционную позицию. Его поэма «Петр Великий, лирическое песнопение», упоминаемая Аксаковым, вышла из печати в 1810 г.

[^^^]

Шишков читал многим поэму Шихматова, переплетенную с белыми листами, исписанными множеством его собственноручных отметок, замечаний и объяснений. Он наблюдал такой порядок: сначала прочитывал целый куплет, а потом возвращался к замеченному слову или выражению. Я, познакомясь короче, списал себе в особый экземпляр все замечания Шишкова, но потерял его и теперь пишу на память. Я мог бы припомнить гораздо больше, но считаю достаточным этого образ-

чика. По совести должен я сказать, что Александр Семеныч употреблял хитрость, читая Шихматова: он выбирал или лучшие места, или такие выражения, которые, будучи им объяснены, переставали, как он думал, казаться читателю странными.

[^^^]

13

Урожденная Шельтинг. Она была голландка и лютеранка. Дед ее был приглашен из Голландии в русскую службу и дослужился до адмиральского чина. По-французски она говорила очень плохо, за что и страдала впоследствии в большом свете, куда судьба неожиданно ее затащила. Она вышла за Шишкова вдовою; но я забыл фамилию первого ее мужа.

[^^^]

14

Они вовсе не были родня Казначееву, но он назвал их родственниками, чтобы иметь более права познакомиться своих приятелей с домом дяди.

[^^^]

15

Этот француз умел подделаться впоследствии к Шишкову похвалами России и русскому языку.

[^^^]

16

Хвостов Дмитрий Иванович (1757–1835) – знаменитый своей бездарностью поэт, его стихи постоянно служили предметом насмешек. // *Хвостов Александр Семенович* (1753–1830) – двоюродный брат Д. И. Хвостова, поэт и переводчик, ярый шишковист.

[^^^]

17

«Разговоры о словесности между двумя лицами: Аз и Буки» – соч. А. С. Шишкова (СПб. 1811).

[^^^]

18

Булнина Анна Петровна (1774–1828) – посредственная поэтесса, была избрана почетным членом шишковской «Беседы».

[^^^]

19

Невзоров Максим Иванович (1762–1827) – поэт и переводчик, доктор медицины, масон.

[^^^]

20

Бакунин Михаил Михайлович (1764–1837) – генерал, петербургский губернатор.

[^^^]

21

Мордвинов Николай Семенович (1754–1845) – видный царский сановник.

[^^^]

22

Метастазио Пьетро (1698–1782) – итальянский поэт.

[^^^]

23

Родная сестра бывшего некогда одесским комендантом генерал-майора Кобле.

[^^^]

24

Цизальпинская республика – была создана в 1797 г. Наполеоном в Северной Италии и просуществовала до 1805 г.

[^^^]

25

М. М. Бакунин был губернатором в Петербурге.

[^^^]

26

...приказал ехать к Воронцовым. – Воронцов Семен Романович (1744–1832) – дипломат.

[^^^]

27

Впоследствии крестьяне упросили положить на них какой-нибудь оброк, говоря, что им совестно против других крестьян. Оброк был положен, разумеется, небольшой, да и тот собирался и употреблялся на их же собственные нужды. Вот как Шишков понимал помещичье право.

[^^^]

28

Тогда была мода ходить с толстыми сучковатыми палками (la massue – палка, дубина).

[^^^]

29

Ефимьев *Дмитрий* *Владимирович*
(1768–1804) – драматический писатель.

[^^^]

30

Шаховской *Александр* *Александрович*
(1777–1846) – драматург и театральный деятель.

[^^^]

31

Строганов Павел Александрович (1774–1817) – генерал, видный царский сановник, один из советников Александра I в начале его царствования.

[^^^]

32

Оленин Алексей Николаевич (1763–1843) – литератор, археолог, директор Публичной библиотеки в Петербурге, президент Академии художеств.

[^^^]

33

Писарев Александр Александрович (1780–1848) – драматург, генерал, был одно время военным губернатором Варшавы.

[^^^]

34

Захаров Иван Семенович (1754–1816) – сановник, писатель, переводчик, председатель шишковской «Беседы».

[^^^]

35

Висковатов Степан Иванович (1786–1831) – драматург, переводчик.

[^^^]

36

Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854) – дипломат и публицист крайне реакционного направления.

[^^^]

37

Горчаков Дмитрий Петрович (1758–1824) – поэт, член шишковской «Беседы».

[^^^]

38

Станевич Евстафий Иванович (1775–1835) – поэт-шишковист.

[^^^]

39

Львов Павел Юрьевич (1770–1825) – писатель, член шишковской «Беседы», автор нашумевшей в свое время сентиментальной повести «Российская Памела» (СПб. 1789).

[^^^]

40

Гератов Гавриил Васильевич (1775–1838) – автор бездарных произведений охранительного направления.

[^^^]

41

Брянский Яков Григорьевич (1790–1853) – выдающийся актер-трагик петербургской сцены.

[^^^]

42

Я не поверил тогда, что она написана Батюшковым, но М. А. Дмитриев недавно доказал, что эта пародия точно принадлежит Батюшкову.

[^^^]

43

У Шихматова почти не было рифм на глаголы.

[^^^]

...одиннадцатый том Русской истории Карамзина, изданный после его смерти Д. Н. Блудовым. – Сведения неточные. XI т. «Истории государства российского» Карамзина вышел в 1824 г., т. е. еще при жизни автора. Очевидно, Аксаков имел в виду XII т., который действительно был издан уже после смерти Карамзина в 1826 г. – графом Дмитрием Николаевичем Блудовым (1785–1864).

[^^^]

Венелин Юрий Иванович (1802–1839) – литератор, славист и этнограф.

[^^^]

[^^^]

Кикин Петр Андреевич (1775–1834) – генерал, флигель-адъютант Александра I, яростный приверженец Шишкова. // Петр Андреевич Кикин был одним из самых горячих и резких тогдашних славянофилов; он сделался таким вдруг, по выходе книги Шишкова: «Рассуждение о старом и новом слоге». До того времени он считался блестящим остряком, французолюбцем и светским модным человеком, как он сам рассказывал мне и Казначееву. Книга Шишкова образумила и обратила его, и он написал на ней: «*Mon Evangile*» (Мое евангелие). Я видел сам эту надпись, и хотя был очень молод, но мне показалось это смешно. В свете называли Кикина новообращенным, новокрещенным, ренегатом, и, точно, как человек перешедший быстро от одного убеждения к другому, он слишком горячился и впадал в крайности, которые никогда не ведут к убеждению других. Он беспощадно и грубо, прямо в глаза, казнил своих прежних знакомых мужчин, дам и девиц, недавно знавших его совсем другим человеком. Он продолжал счи-

таться остряком, и язык его называли бритвой. С глубоким уважением предался он Шишкову, который сам очень его любил и уважал.

[^^^]

[^^^]